

Святочные рассказы

Автор:

Константин Станюкович

Святочные рассказы

Константин Михайлович Станюкович

Григорий Петрович Данилевский

Александр Степанович Грин

Михаил Михайлович Зощенко

Дмитрий Васильевич Григорович

Александр Иванович Куприн

Николай Семёнович Лесков

Владимир Иванович Даль

Василий Иванович Немирович-Данченко

Леонид Николаевич Андреев

Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Сборник святочных рассказов придется по душе не только ценителям классической литературы, но и всем, кто просто хочет почувствовать праздничное настроение и присутствие в своей жизни чудес. Книга станет замечательным рождественским подарком для родных, друзей и даже для себя, а также приятной новинкой в семейной библиотеке.

Здесь вы встретитесь с Бестужевым-Марлинским, Лесковым, Данилевским, Куприным, Далем, Станюковичем и другими мастерами русского слова, предстающими в довольно неожиданном, «рождественском» качестве.

Святочные рассказы. Сборник

В оформлении книги использованы рождественские открытки дореволюционных лет.

© Оформление Муравенко А.О., 2019

© Издательство «Художественная литература», 2019

Д. В. Григорович

Прохожий

I

...Да, поистине, это была страшная ночь! Старики говорили правду: такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру. И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из

пустого не стали бы выводить страхов (этак, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели, а между тем и всей-то зимы никто не боится)! Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и окнам и будит баб топить ночью печи: идет ли она по полю – за ней вереницами ходят метели и просят у нее дела; идет ли по лесу – сыплет из рукава иней; идет ли по реке – кует воду под следом на три аршина, – и что ж? – всякий встретившийся с нею прикутается только в овчину, повернется спиною да идет на полати! На этот раз, однако ж, иное было дело.

Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие и как будто терявшиеся в отдалении за гумнами, то отрывчатые, пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы и запечья. Выходит ли кто на улицу – перед ним носились незнакомые, чуждые образы; из мрака и вихрей возникали то и дело страшные, никому не ведомые лики... Да, старики говорили правду, когда, прислушиваясь чутким ухом к реву метели, утверждали они, что буря буре рознь и что шишига, или ведьма, или нечистая сила (что все одно), играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок. Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу! (В Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится.) Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом, снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы... как это действительно было с одним бедняком прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого.

Много грозных ночей застигало прохожего, много вьюг и непогод вынесла седая голова его, – но такой ночи он никогда еще не видывал. Затерянный посреди сугробов, по колена в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу: метель и сумрак сливали небо с землею, снежные горы, взрывааемые могучим ветром, двигались как волны морские и то рассыпались в обледенелом воздухе, то застилали дорогу; гул, рев и смятение наполняли окрестность. Напрасно также силился он подать голос: крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха: грозный рев бури один подавал о себе весть в мрачной пустыне. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника, страшные думы бродили в голове его и воплощались в видения: на днях знакомый мужичок, застигнутый такою же точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем, и на другой день, об утро, нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода; третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы; вечер еще посреди самой улицы нашли

мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.

Так думал прохожий; а вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вот повернула она, поднялась хребтом на пригорке, закрутилась вихрем, пронеслась над головой путника, загудела в полях и ударила на деревню. Вздогнули бедные лачужки, внезапно пробужденные от сна посреди темной холодной ночи; замирая от страха, они тесно прижались друг к дружке, закутались доверху своим снежным покровом, прилегли на бок и трепетно ждут лютого вихря. Но вихрь, привыкший к простору, рвется и мечется пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он разом со всех сторон нападает на лачужки, наползает на шаткие стены, гудит в стропилах, ломает там сучья, срывает воробьиные гнезда, сверлит кровлю и, выхватив клочок соломы, бросается на кровлю, слясь сбросить петушка или конька на макушке; и тогда как одна часть бури ревет вокруг дома, другая уже давно проползла шипящею змеею под ворота, ринулась в клетки и сараи, обежала навесы и, не найдя там, вероятно, ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку свернувшуюся клубком под рогожей... Но вот вихрь прилег наземь, загудел вдоль плетня, украдкою добрался к калитке, поднялся на дыбы, сорвал ее с петель, бросился на улицу, присоединился к другому, третьему, и снова грозный рев наполняет окрестность...

Но что до этого! По всему крещеному миру не было все-таки бедной избушки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни, где бы не было тепло и приятно! Там – шумная толпа ребятишек резво прыгает по лавкам и нарам, выбрасывая из рукава нарочно припасенные про случай хлебные зерна и звонко распевая: «Уроди, боже, всякого хлебца, по закорму, что по за корму да по великому, а и стало бы того хлебушка на весь мир крещеный!..» Между тем старшая хозяйка дома – мать ил и тетка, – отбиваясь одной рукою от колючих игл овса и гречи, пущенных в нее как бы нечаянно шаловливым парнем, другою приподняв над головою зажженную лучину, суетливо ходит взад и вперед и набожно подбирает зерна в лукошко для будущего посева. Остальные члены семьи, кто усевшись под иконы, кто стоя в углу, молча, но весело глядят на совершение обряда; даже старая подслеповатая бабушка, много лет не сходявшая с печки, свесилась на перекладину поглядеть на внучек, – на семейную радость!

В другой избе крики и хохот раздаются еще громче. Рой молодых девок натискался в избу. Двери плотно заперты; окно на улицу завешено прорванной понявой. Одна из девок – самая вострая – стоит на слуху в сенечках: не идет ли

кто! Остальные заняты делом: кто повязывает на голову войлок, обвитый вокруг палки, кто натягивает армяк или покрывает маленькую головку неуклюжей шапкой, обтыканной по краям, ради смеха, льняными прядями, обсыпанными мукою; кто прикутывается в овчину, вывороченную наизнанку, – это ряженные! Хохот, визг, шушуканье, писк не прерываются ни на минуту. Надо же весело справить последний день Васильева вечера! В третьей избе громкий говор и восклицания сменились на минуту молчанкою. Ребята, бабы, большие и малые – все пришипилась. Там, под сладкий шумок веретена и прялки, тянутся мерные рассказы старика-деда. Семейка села в кружок и, пригнувшись к одной лучине, не пропускает ни одного звука, ни одного движения рассказчика. Рассказ, прерываемый треском мороза, который стучит в углы и запоры, благополучно дотянулся, однако ж, за полночь. Лучина скоро угаснет. И тогда вся семья, женатые и холостые, большие и малые, заползут на печку и предадутся мирному отдыху, нимало не заботясь, что вьюга ревет и завывает в поле и вокруг дома...

О! счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка!.. Так, по крайней мере, думал... но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать! Отчаяние уже давно завладело его душою. И если какие-нибудь мысли и приходили ему в голову, – им все-таки не время теперь было определиться в ясную думу; они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютою метелью, посреди которой стоял он с обнаженною седою головою и замирающим сердцем, – и так же быстро уносились и сменялись другими мыслями, как один вихрь сменялся другими вихрями...

Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшею ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.

Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетною рукою сотворил крестное знамение. Буря между тем пронеслась мимо: все как будто на минуту стихло... и вдруг неожиданно, в стороне, послышался лай собаки... Нет, это не обман – лай повторился в другой и третий раз... Застывшее сердце старика встрепенулось; он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух... Немного погодя ощупал он сарай, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избышек.

Хозяин в дому – как Адам в раю,

Виноградье красно-зеленое.

Хозяйка в дому – как оладья в меду,

Виноградье красно-зеленое.

Малые детушки – как олябышки,

Виноградье красно-зеленое!

Народная песня

– Ах вы, пострелы вы этакие!.. Вишь, заладили: пусти да пусти на улицу! Уйметесь вы али нет?.. – закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу. – Молчать! вот я вам погуляю!.. Молчать, говорят!.. – прибавила она, внезапно останавливаясь над маленькою толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.

Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет пяти, с огромным куском ржаной лепешки во рту выставили его вперед и, прежде чем руки матери опустились книзу отступили в угол.

– Это Филька кричал, а не мы... – проговорили они в один голос, тискаясь друг на дружку.

– То-то – Филька, я вам дам Фильку, смотрите вы у меня! – произнесла старуха, отступая в свою очередь и грозя в угол.

Она повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь – девушку лет семнадцати, сидевшую на лавочке подле окна.

– Ну, чего ты сидишь – ноги-то развесила, – начала старуха, принимаясь снова размахивать руками, – что сидишь?.. Неужто не видишь – лучину надо поправить, словно махонькая какая: все ей скажи, да скажи, сама разума не приложит!..

Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем книзу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место. Дурное расположение старухи нимало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали по-прежнему в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, которая сердито завывала на улице, – потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье, раздававшееся с печки.

– Левоныч, а Левоныч, – заговорила она наконец, топнув ногою и устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала острым клином из-за края печки. – Левоныч, слышь, говорят, вставай! Ну чего ты, в самом-то деле, разлегся, словно с устали; полночи дожидаясь, что ли? Вставай, говорят!

– О-о-о! Господи!.. Господи!.. Чего тебе, ну? – отозвался староста, зевая и потягиваясь.

– Тьфу, увалень! прости господи! Тебе что? тебе что?.. – подхватила она с сердцем и стараясь передразнить его, – тебе что?.. Сам наказывал будить; память заспал, что ли? Я чай, у Савелия давно завечеряли; ты думаешь – староста, так и ждать тебя станут, – нетто возьмешь; вставай, говорят!

– Ммм... – простонал староста, переваливаясь на другой бок; при этом борода его исчезла, и на месте ее показалась багровая, глянцевиная лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.

– Слышь, говорят, понаведались за тобою от Савелья, сказывают, и мельник там, и пономарь, – крикнула она, обнаруживая крайнее нетерпение.

Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок, и уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопенья.

Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко, с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась стукотня в окне и вслед за тем кто-то запел тоненьким голосом:

Коляда, коляда!

Пришла коляда!

Мы ходили, мы искали

По всем дворам, по проулочкам...

– Мамка, пусти к ребятам на улицу! – заголосили в то же время ребятишки, выступая из угла, – пусти хоша поглядеть...

– Цыц, окаянные! цыц! – крикнула старостиха, ухватившись второпях за ногу мужа и поворачивая назад голову.

– Мамка, мамка!.. – заголосили громче парнишки, подстрекаемые пением за окном, которое не умолкало, – пусти поглядеть на ребят...

Но старостиха недослышала далее; она соскочила наземь, схватила веник и со всех ног метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.

– Вот тебе, вот тебе!.. – проговорила мать, скрепляя каждое слово новым ударом. – Ну, перестань же, перестань, – присовокупила она, смягчая неожиданно голос и увлекая его к столу, – перестань, говорят; на пирожка, на пирожка, – продолжала старуха, суя ему под нос кусок, – на пирожка... А, так ты не хочешь, пострел, не хочешь... на же тебе, на тебе! – И веник снова зашипел в воздухе. – Ну на пирожка... возьми... о! о! уймешься ты али нет?! опять!.. постой же, постой...

И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего, и тот же голос запел, но только настойчивее:

Четны ворота!

Посконна борода.

Кричать ли Авсень?..

– Матушка, подай им хоть лепешку, – сказала старшая дочь, робко взглядывая на мать и потом обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно, – они, матушка, так-то хуже не отстанут...

– Не отстанут! ах, ты дура, дура! – крикнула старостиха, бросая Фильку и останавливаясь впопыхах посередь избы, – а вот погоди, я им дам лепешку...

Но шум под окном обратился уже в неистовые крики, сопровождаемые присвистывавшем, прищелкиванием, и голос распевал во все горло:

Четны ворота,

Посконна борода,

Честь была тебе пропета,

подавай лепешку

В заднее окошко!

Присоединенный к этому вой Фильки и рев остальных детей остервенили вконец старуху; и бог весть, чем бы все это кончилось, если б не голос старосты, который раздался почти в то же время с печки:

– Старуха... о! что у вас там такое? соснуть не дадут... никак колядки задумали петь... гони их...

– А сам-то ты что лежишь на печке, увалень ты этакой. Бьюсь не добыюсь поднять его на ноги; тьфу!..

Старый черт, подай пирога,

Не дашь пирога – изрубим ворота.

Авсень!.. —

раздалось под окном.

– Вишь, черти! – вымолвил староста, подпираясь локтем и лениво потирая лысину, – поди, уйми их, старуха, чего стоишь?

Старостиха подняла окно и высунулась на улицу; но почти в ту же минуту отскочила на середину избы. Несколько комков снега влетели вслед за нею.

– Ух! окаянные! ух, дьяволы! – завопила старуха, протирая глаза и метаясь как угорелая из угла в другой, – где кочерга?.. где? а все ты, увалень! лежит себе, словно с ног смотался, – не шелохнется, хоть дом гори.

На будущий год

Осиновый тебе гроб... —

крикнул кто-то звучным голосом, ударив кулаком в оконную раму

– А вот погоди, погоди, – проговорил староста, спускаясь наконец с печки, дам тебе осиновый гроб; это, я знаю, все Гришка Силаев озорничает; погоди, я тебе шею наkostenяю, – заключил он, став на пол и протирая глаза, – Вы чего?.. Ну, чего воете?

– Тятка, пусти нас на улицу! – жалобно отозвались ребята,

– На улицу! – прытки добре; слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется... Парашка, давай кушак да шапку – они, кажись, на лавке под образами, – давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечеряли... – промолвил он, обращая сонные глаза на старшую дочь, которая во все это время так же неподвижно сидела на лавочке, изредка лишь завистливо поглядывая на уличное окно.

– Ну вот, давно бы так, ступай-ка, ступай!.. и то два раза спрашивали, – сказала старуха, торопливо подавая варезки.

– Вот что, хозяйка, – вымолвил муж, останавливаясь у двери, – смотри, без меня никого не пущай в избу; не равно ряженные придут – гони их в три шеи... Повадились нынче таскаться... А пуще всего не пущай Домну. Чтоб и духу ее здесь не было...

– Чего ей ходить-то, – недовольным голосом возразила жена, – небось не придет... Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку...

Сказав это, она набросила полушубок на плеча и, ворча что-то под нос, поплелась за мужем. Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужей и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.

– Ух! морозно добре стало, старуха... ух... ишь как ее, погодка-то, разгулялась... у!...

Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.

– Ну вот еще что выдумал! первинка тебе, небось, ступай, ступай; тебе так спросонья почудилось; вестимо, ветер гудет – зимнее дело; ступай, у Савелия давно уже, я чай, завечеряли, – ступай, говорю, не срамись...

И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.

Пробравшись к воротам, она отворила калитку, оглянулась во все стороны и наконец вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело; вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.

– Ну, что ж ты, Параша, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу, – сказала она, неожиданно обращая речь к старшей дочери.

– Я думала, матушка, ты не велишь... – отвечала девушка, радостно вставая с места.

– Мамка, пусти и нас! – произнес сквозь слезы голос из угла.

– Што-о-о!... – воскликнула старуха, быстро поворачиваясь к углу.

Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с тою, однако ж, разницею, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.

– Чего вы, пострелы, все его вперед суете? я нешто не вижу?.. подь сюда, касатик, – заключила старостиха, глядя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок. – Ну, – крикнула она, взглядывая нерешительно на угол, – ступайте на улицу!..

Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.

– Цыц, пострелы! – задребезжала старуха, затыкая сначала уши и пускаясь потом вдогонку то за одним, то за другим, – цыц! никого не пушу... тьфу, окайные, прости господи! – пошли вон!.. А ты, моя касатушка, не смей у меня шляться по улице! – прибавила она, повертываясь к Параше, которая взялась уже за скобку двери. – Будь довольна, что из избы-то тебя выпустили... не стать же тебе шаламберничать с ребятами; сиди у ворот, шагу не смей ступить без спросу!..

Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за воротами.

III

Ах ты, Домна Домна...

... – баба ты удалая!

Народная песня

Секунду спустя старостиха осталась одна-одинешенька посреди избы. Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какою-то довольною заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы; после этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени. Тут пригнула она набок голову и стала внимательно вслушиваться; убедившись, что слышанный ею шум происходил единственно от бури, – старуха захлопнула дверь на крылечко и вошла в каморку или чулан,

прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней. Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободно ветер, но даже сеялся в изобилии снег, и многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины; приткнув ее наконец кой-как за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро: поочередно выступили, одна за другою, старые понявы, куски холста, мотки, коты, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца; добравшись до последних, старуха бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество. Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног; старостиха насторожила слух и затаила дыхание. Раздавшийся немного погодя кашель возвратил, однако ж, спокойствие на лицо ее; откашлянувшись в свой черед, она сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головою лучину, вернулась в сени; задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась, и в сени вошла, побрякивая и оттаптывая ноги, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали как мышонки, несмотря на то что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру. В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицею; другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.

– Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать! – произнесла та, кланяясь в свою очередь.

Вслед за тем она прикрыла полою зипуна лучину и отошла немного в сторону.

– А что, касатушка, никого у вас нет? – прохрипела Домна, осматриваясь нерешительно на стороны.

– Никого, родная, все, и малы, и велики, со двора ушли, – отвечала старостиха, утвердительно моргая глазами.

Услыша это, гостя мгновенно приободрилась, тряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она потянулась спиною к хозяйке и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какою-то жидкостью притолку стены сенечек и

порог, нашептывая что-то под нос. Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами: сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостыи. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда Домна окончила причитание, подала его с поклоном.

Ощупав полотенце, Домна снова повернулась спиной, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые дверь и пол, спрятала его за пазуху. После того она закрыла горшок, поставила его на пол и подошла к старостихе как ни в чем не бывало[1 - Обряд этот совершается на Васильев вечер и известен в Великороссии под названием: смывание лихоманок.

Смывание производится (как уверяют, по крайней мере, плутовки, пользующиеся доверием поселян) снадобьем из четверговой соли, золы из семи печей и угля, выкопанного в Иванов день из-под чернобыльника.].

– Спасибо тебе, Домна Емельяновна, что понаведалась, – сказала старостиха, отвешивая маховой поклон. – а я уже чаяла, касатка, ты за метелю-то не зайдешь ко мне; выходила за ворота, смотрю: гудет погода; нет, думаю, не бывать тебе...

– И-и-и... Христос с тобою, с чего ж не бывать? уж коли посулила, стало, приду, – отвечала скороговоркою Домна, – да и пригоже ли дело, родная, солгать в такую пору...

– То-то, болезная... зайди в избу, Емельяновна, – отогрейся.

– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна.

Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу.

Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке, как волчок. Гостыя не долго отнекивалась, выпила вино бычком, т. е. одним духом до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.

Вообще, должно сказать, Домна не была бабою ломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая! Да и можно ли, по-настоящему, быть иначе

сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским состраданием, пробавляешься чужими крохами, тут всякий, того и смотри, сядет тебе на плечи, да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотят. Домна знала это как нельзя лучше, а потому, желая избежать по возможности сиротской невзгоды, и норовила всегда сама сесть на чужие плечи; «И будь без хвоста, да не кажись кургуз», – говорит пословица. И так ловко повела она свое дельце, что никто не пенял на нее; каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли sprysнуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, – везде и всегда она одна. Незадолго еще до настоящего времени слыла она первою запевалкою и хороводницею во всем околотке, никто не подлаживал так складно под песню в обломок косы, никто не выплясывал и не разводил так ловко руками, ничей голос не раздавался звучнее; но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел как у опоенной клячи, – слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, – но теперь в соседних деревнях без Домны – что без правого глаза. Без нее не обходится ни одна свадьба, потому что, не будь Домны, и свадьбе бы не состояться; она поклонилась отцу, поклонилась матери и уладила дельце; на пирах является она бабкою-позываткой: первая затевает пляску, первая пьет сусло и бражку. В зимние долгие вечера Домна – не баба, а просто золото. Она все знает: кто хочет или задумал только жениться, кого замуж выдают, где и за что поссорились люди; там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, здесь sprysнет студенцем – словом, на все про все. И крова, кажись, нету, мужа нету – сирота как есть круглая, а живет себе припеваючи. Да и о чем тужить? Сама не раз говорила Домна: «И то правда, касатушки, под окошечком выпрошу, под третьим выплюсь – поддевочка-то сера, да волюшка-то своя!»

Так вот какова была гостья старостиhi.

– Ну, что, касатка, я чай, у соседей была? – спросила старостиha, придвигая к ней пирог.

– Как же, родная, – скороговоркою отвечала Домна, косясь одним глазом на скляницу, другим на чашку с гороховым киселем, – когда ж и быть-то, как не нынче? кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та: «Домна Емельяновна, пособи», другая также! Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела; вестим о, долго ли накликать беду; о-ох! знамо, не простой день, касатка, – Васильев вечер... Ноне, болезная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней

морозом... Вот она и спует, окаянная, по свету – ищет виноватых; где теплая изба, туда и она... притаится, это, за простенок али притолку и ждет, нечисть, не подвернется ли кто... Я сама их видала, всех сестер видала... уж в чем, кажись, только душа есть: тощие, слепые, безрукие такие... а не смей из дому – затрясут, поди, до смерти, – завиралась Домна, надламывая пирожка и взглядывая на старостиху, которая сидела против нее на лавочке и, прищурившись, как кошка на печке, мотала в тягостном раздумье головою.

– Вот скажу тебе, – продолжала Домна, – видела я мужика в Груз дочках, так уж подлинно жалости подобно... И здоров был, и росл, что хмелина в весну, а как напала, это, она на него, – похирел, словно трава подкошенная... А все оттого, что жена его поартачилась да не пустила смыть лихоманку в Васильев вечер...

– Ахти, касатка, зки дела какие; что ж она – недобрая мать, – злобу какую на мужа-то имела?.. – спросила старостиха.

– А кто ее знает, я немало ее тогда уговаривала...

– Да что ж ты, родная, не пьешь, не ешь ничего... – произнесла хозяйка, принимаясь суетиться, – не позорь нашего хлеба-соли... выпей еще стаканчик...

– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна, радостно принимая приглашение, – ну, так вот, родная, как почала она трясти его, трясла уж она, это, трясла, чуть не до смерти; насилу отшептали, совсем было сгиб человек... Да постой, не нынче, так завтра у нас в деревне прилунится такое дело – коли еще не хуже...

– О-ох! – произнесла старостиха, со страхом озираясь на сторону. – Что ж такое, родная?..

– А вот что, – отвечала Домна, отдувая багровые свои щеки, – захожу это я нынче, об утро, к Василисе, соседке твоей – вестимо, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось что за хлопоты, и хожу к ней, – а так, по простоте моей сиротской, известно, люди бедные, нешто с них возьмешь... «Маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном; дай, говорю, отведу я от него нечистую силу, нынче только, говорю, и можно образумить каженника[2 - Каженником называют в деревнях человека, одержимого душевною тоскою иногда просто без причины. Не ходит парень в хороводы, ну и каженник!] – сама, чай, ведаешь, день какой».

Куда те! и слышать не хочет; да это бы еще нешто, бог с ней, а то туда же окрысилась на меня: вы, говорит, по деревне про сына пустили толки, то да се... Ну, думаю себе, делай как знаешь, сама напоследях спокаешься, несдобровать тебе с твоим каженником!..

Тут Домна покосилась украдкой на старостиху и сказала, понизив голос:

– Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому, я давно хотела с тобой на досуге глаз на глаз поговорить...

Старостиха насторожила уши.

– Он, слышала я от добрых людей, – продолжала таинственно Домна, – за твоей дочкой увивается... избави господи!.. У каженников дурной глаз! того и смотри, испортит девку...

– Что ты, касатка, – ох!.. Да подступись он только... Да я и ему-то, и его матери-то все глаза выплюю!.. – возразила с негодованием старостиха. – Я, родная, как только проведала про эвто дело, и дочь-то не пускаю со двора, зарокотом наказала не ходить за ворота...

– То-то, болезная, я не в пронос говорю тебе такое слово; ты девку-то свою не пущай, а он, окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум, – напустит на нее лихость, – а ты, поди, плачь, тоскуй опосля... По-моему, до греха надо отвадить его как ни на есть от нее, чтобы девка-то опостыла ему, – без этого не миновать вам беды... Уж лучше, коли на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню, я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надеть! Да ему и в рот не вкинется, и во сне не приснится такое счастье... Она у тебя пригожее всех молодич сел... Вот доведалься я (люди добрые сказывали), и она, Василиса-то, на то же норовит; стану, говорит, просить барина!.. Пригодное ли дело, касатка, вам с ними родниться? шиш-голь, да и полно! Вам просвету не дадут: вишь, скажут, породнились с кем!.. Вестимо, кто про что: другому и крохи пропустить нечем, – да добрый человек, а этот, болезная ты моя, каженник! Уж что это за человек: чурается добрых людей, словно собак паршивых, ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песни... я тебе говорю: отлучи ты его, до беды, от девки-то!..

– О-ох! я и сама о том думаю, касатушка... помоги, Домна Емельяновна, – произнесла с явным беспокойством старостиха, – рада служить тебе всем

добром, – отведи ты его, бог с ним, от моей дочери.

Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце.

– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна, спрятав полотенце, как бы невзначай, за пазуху, – рада и я служить тебе; изволь, помогу; слушай...

И Домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху; нов эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке.

– Ох, родная! – воскликнула Домна, бросаясь впопыхах из одного угла в другой. – Никак, муж твой идет, вот накликали беду!..

Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу.

– Нет, касатка, не он, – крикнула она, просовываясь в избу и обращаясь к Домне, которая стояла уже в дверях, – не он: ветер сорвал доску с надворотни – не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется, сиди без опаски...

– Ох, касатка, всполохнулась я добре, – вымолвила гостья, отдуваясь и прикладывая ладонь к левому боку, – ну, кабы он, беда, думаю; – серчает он на меня... а сама не знаю за что... провалиться мне, стамши, коли знаю...

Но речь Домны снова была прервана таким страшным грохотом под воротами, у плетней и под навесами, как будто буря, собрав все силы свои, разом ударила на избу старосты.

– С нами крестная сила! – пробормотала хозяйка дома, творя крестное знамение.

– Ох, не к добру, родная, – проговорила Домна, крестясь в свою очередь, – слышь, как вдруг все загудело... Ох, вот так-то, как шла я к тебе... иду, вдруг, отколе ни возьмись, замело меня совсем, и зги не видно; куда идти, думаю, и сама не знаю; стою это я, касатка, слышу, кто-то словно подле меня заплакался... да жалостливо так... Ох, не к добру..

Мало-помалу, однако же, и хозяйка, и гостя успокоились. Буря пронеслась мимо. Старостиха бережно заперла двери и снова села на лавочку; Домна откашлянулась, нагнулась к ее уху и стала что-то нашептывать.

IV

Чижик-пыжику ворот,

Воробышек махонькой...

Эх, братцы, мало нас!

Голубчики, немножко...

Иван-сударь, поди к нам,

Андреевич, приступись...

Народная песня

Параше страх, однако ж, прискучило сидеть под окнами своей избушки. В первое время после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг; полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока наконец не увидела ясно, что ожидания обманули ее. Сколько ни напрягала она внимания, всюду слышался рев бури, которая, врываясь поминутно в деревню, грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы; глухая ночь царствовала повсюду; изредка лишь, проникая мрак, сквозь снежную сеть мелькали кое-где, как искры, огоньки дальних избушек. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.

«Неужто запугали их метель и холод? – подумала она, стараясь проникнуть в сотый раз темноту, ее окружавшую. – Чего ж тут бояться?.. О! если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы всех их пристыдила. А может быть, они забились в избы, не страха ради, а ради забавы... Я чай, гадают они или наряжаются... куда как весело!...» Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнее прежнего. Не смея послушаться матери, но со всем тем

не желая вернуться в скучную избу, она подошла к завалинке, оттоптала снег в углу, между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать. Она мысленно переносилась в каждую избу; там невидимкою присутствует она посреди веселого сборища; тут прислушивается к говору парней, здесь подруги наряжают ее: она смотрится в крошечное оправленное зеркальце, глядит и глазам не верит, как пристала к ней высокая шапка с золотом, синий кафтан и красная рубаха с пестрыми ластовицами; в другом месте... но не перечестъ всего, о чем думает молоденькая девушка. Кончилось тем, что Параша не утерпела, сбросила с головы овчину, заглянула в окно к матери и, убедившись, вероятно, что с этой стороны не предстояло опасности, соскочила с завалинки и украдкою подобралась к соседней избе.

Изба эта – хилая лачужка, занесенная почти доверху снегом, – отделялась всего-навсего от избы старосты длинным навесом, а Параше стоило сделать несколько прыжков, чтобы очутиться под единственным ее окошком.

Девушка прильнула свеженьким своим личиком к стеклу, сквозь которое проникал огонек, и, затаив дыхание, долго смотрела на внутренность избушки. Но и тут, казалось, ожидания обманули ее. Параша нахмурила тоненькие свои брови и думала уже вернуться назад, когда совершенно неожиданно до слуха ее коснулся чей-то тоненький голосок. Голос выходил из-за ближайшего овина; Параша притаилась в угол и стала вслушиваться; голос, очевидно принадлежавший женщине, напевал, между тем, протяжно:

Ай, звезды, звезды,

Звездочки!

Все вы, звездочки,

Одной матушки,

Бело-румяны вы

И дородливы/..

Гляньте, гляньте

В эту ноченьку!..

«Это, должно быть, Кузнецова Дунька загадывает себе счастье... – подумала Параша. – Но где же видит она звезды? – продолжала она, закутываясь в тулупчик и поднимая кверху голову, – ух! как темно и страшно... ну, долго же придется ей ждать звездочку... А что, все ведь нынче гадают... дай-ка и я себе загадаю... что-то мне выпадет?» Последнее заключила она, стоя уже подле своей избы; она оглянулась сначала на все стороны, потом обратилась снова почему-то к соседней лачужке и произнесла нараспев:

Взалай, взалай, собачонка,

Взалай, серенький Волчок!

Где собачка залает,

Там и мой суженой...

Но каково же было удивление девушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки. Лай замолк, а Параша все еще стояла, как прикованная на месте; сердце ее билось сильнее; не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню; но голоса и хохот, раздавшиеся внезапно с другого конца улицы, привлекли ее внимание.

– Тащи каженника, тащи его! Что он взаправду артачится... Тащи его, ребятушки, пущай нарядится с нами... тащи его, не слушай! – кричал кто-то, надрываясь со смеху.

Параша бросилась сломя голову на завалинку, вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить одно слово. Голоса и хохот приближались с каждой минутой; вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.

– Ребята, никак старосты огонь! катай туда! – закричал тот же голос, по которому Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева. – Полно тебе, Алешка, козыряться, не топырься, сказано, что не выпустим, так стало, так и будет; полно тебе слыть каженником, пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем... Тсс! тише, ребята, ни гуту; девки, полно вам шушукаться, никак кто-то сидит у старосты на завалинке...

– Девушки, касатушки... ох!... – заговорило в одно время несколько тоненьких голосков.

– Ну чего вы жметесь друг к дружке, чего? небось, не съедят, – шепнул Гришка Силаев, – ступайте за мной...

И толпа наряженных, стиснувшись в одну плотную кучку, пододвинулась ближе. Гришка сделал шаг вперед и вдруг залился звонким, дребезжащим хохотом.

– Э! так это вот кто! здравствуй, Старостина дочка, – произнес он, снимая обеими руками шапку и кланяясь Параше чуть не в ноги.

– Девушки, касатушки, и вправду она! – воскликнули девушки, окружая подругу. – Что ты здесь делаешь? пойдем с нами, полно тебе сидеть; смотри, как мы нарядились! пойдем...

– Нет, мне нельзя... я и рада бы, да, право, нельзя, касатушки... того и смотри, матушка позовет... – отвечала Параша, заглядывая вправо и влево и как бы желая различить кого-то в толпе.

– А разве матушка твоя дома? – спросил Гришка.

– Дома.

– И отец дома?

– Нет, отец у Савелия на вечеринке.

Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос с носом со старостихой, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу. Гришка свистнул и бросился в самую середину толпы, которая откинулась в сторону.

– Ах вы, проклятые!.. Кто там?.. Чего вам надеть?.. Пошли прочь, окаянные!.. Парашка! Парашка! что те не докличешься... ступай в избу, где ты? о! постой, я тебя проучу.

Парашка откликнулась, набросила на голову полушубок и, вздохнув, отправилась к воротам.

– Параша! – крикнул ей вслед Гришка. – Кланяйся маменьке, целуй у ней ручки; скажи, что все, мол, мы, слава богу здоровы и ей того мы желаем...

– Ах ты, охлестыш поганый! – взвизгнула старостиха, высовываясь по грудь из окна. – погоди, стой, я тебе дам знать!

– Что ты, маменька, глотку-то дерешь?.., не обижайся, за добрым делом к тебе, родная... отозвался Гришка, пробираясь украдкой с огромным комком снега под полою. – Приходили звать тебя в гости; не равно обозначаешься; ищи ты нас вот как: ворота дощатые, собака новая, в избе два окна, как найдешь, прямо придешь! – заключил он, пуская комок в старостиху, которая успела, однако ж, вовремя захлопнуть окно.

Толпа захохотала.

– Эх, промахнулся! – произнес Гришка, отряхая руки. – А жаль, кабы не обмишурился, было бы чем закусить... ишь ее, баба-яга какая... Ребята, назло же ей, слушай: старосты нет, пойдемте к ней в избу... выворотим каженнику овчину, он будет медведем, а я жожаком; ладно, что ли? Ну, Михайло Иваныч, поворачивайся, да не пяль глаза в стороны, сказано – не выпустим, пойдешь с нами! – прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.

– А ну, быть стало по-вашему! – неожиданно воскликнул молодой парень, отрывая глаза от старостина окна и принимая как будто решительное намерение. – Давайте овчину я сам выворочу... Ну та к ладно, что ли! – заключил он, просовывая руки в рукава вывороченной овчины и тяжело поворачиваясь перед толпою, которая разразилась звонким смехом.

– Ай да молодец! – заревел Гришка, топая в восторге ногами. – Я вам говорил: на него только наговорили, какой он каженник! Давай другую овчину, закутаем ему голову! Так. Ну-кась, Михайло Иваныч: а как ребята за горохом хаживали... ну-у-у!.. ай да Алеха! Я говорил вам, не сплехует! Он только прикидывался тихоней, а они ему верили... Ребята, стойте! – крикнул Гришка, останавливая толпу, которая уже двинулась к воротам Старостиной избы, – стойте; по-моему, вот что: дайте ей, старой ведьме, опомниться; она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать... дадим-ка ей лучше простыть, да тогда, на спокой-то, и потревожим ее, пущай-де знает! Пойдемте, как есть, следом к Савелью, теперь

пир горой; народу там гибель, потешимся на славу, а там сюда добро пожаловать... так, что ли?..

– Пойдемте, пойдемте! – отозвались все разом.

И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря, смолкнувшая на время, снова ударила всей своей силой; все помутилось вокруг, и ряженные наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.

– Держись, не вались! – крикнул Гришка, сгибаясь в три погибели и становясь спиною к метели. – Наша возьмет, стой крепче, не робей! Эй вы, любушки-голубушки, – присовокупил он, пробираясь к девушкам, – что пришипилась? играйте песни!..

– Полно тебе, Гришка... Ох, девушки, страшно! ох, ка саг ушки, страшно! – раздавалось то с одной стороны, то с другой.

– Страшно... у! у! у!.. – произнес Гришка, становясь на четвереньки и принимаясь то хрюкать свиньею, то выть волком. – Ой, девушки, смотрите-ка, смотрите... вон ведьма на помеле едет, ей-ей, ведьма, у! смотри, сторонись, – хвостом зацепит.

Девушки, прятавшиеся друг за дружкой, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. И стороне, за метелью, послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон... В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега, между сугробами, показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.

Но толпа успела уже разбежаться во все стороны.

V

За дубовы столы,

За набранные.

На сосновых скамьях,

Сели званые.

На столах – кур, гусей

Много жареных,

Пирогов, ветчины

Блюда полные!

А В. Кольцов

Между тем пирушка у Савелия шла на славу: народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места бы ему не достало. Даже под самым потолком торчали головы; последние, впрочем, принадлежали большею частью малолетним парнишкам и девчонкам, которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуться. И как, в самом деле, сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время – в святки? Того и смотри, нагрянут ряженные, пойдут пляски, песни... деревенским ребятам все в диковинку! И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков и подзатыльников, карабкаются на лавки, вползают на печку и полати, мостятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. Между ними попадают такие бойкие, которые, не зная, куда девать маленького братишку, заснувшего у них на руках, забрались вместе с ним на зыбкую перекладину и висят себе как ни в чем не бывало!

В избе жарко как на полке; никто, однако ж, не думает отступать к двери; каждый, напротив того, норовит изо всей мочи как бы протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение. Там, за столом, покрытым рядом, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидели гости званые и почетные. На самом первом месте, под образами, в которых дробился свет восковой свечки вместе со светом сального огарка, воздвигнутого на столе, бросался прежде всего в глаза мельник и жена его, оба толстые, оба красные, как очищенная свекла. Подле них, по правую руку, сидел пономарь из чужой вотчины, долговязый, рябой как кукушка, косой как заяц, с острым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке; жар действовал на

него совсем иначе, чем на мельника: он, казалось, сушил и коробил его как щепку. Подле пономаря сидел сотский – крошечный, мозглявый старикашка лет семидесяти пяти, но живой и вертлявый, щупавший поминутно то медаль на груди форменной инвалидной шинели, то дергавший себя за кончики седых волос, изредка торчавших по обеим сторонам лысины; слезливые глаза его щурились постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, был постоянно открыт и сохранял такое выражение, как будто сотского парил кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником. По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста и рядом с ним хозяин дома – рыжий, плечистый мужик, такой же толстый почти, как мельничиха. С обоих пот катил градом, но оба не замечали этого и, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались. По обеим сторонам описанных лиц, на лавочках, подле стола и немного поодаль, сидели еще гости, тоже званные, но менее почетные. Тут были старики, и молодые, и бабы с их ребятами; все они расположились семьями: где муж с женой, где старуха со снохой. Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой; радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного, и так как хозяйка приготовила кисленького и солененького вволю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Немолчный говор, восклицания, хохот, раздававшиеся вокруг стола, свидетельствовали о довольстве присутствующих. Но всех довольнее был, по-видимому, все-таки сам хозяин.

– Александр Елисеич, сват! кумушка Матрена Алексеевна! Кондратий Захарыч! еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько... – кричал Савелий, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из гостей своих. – Александр Или сейм, что ж ты, откушай – полно тебе отнекиваться, ну хошь пригубь, – прибавил он, обращаясь настойчивее к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору

– О-ох! не много ли, прим ершу будет, Савелий Трофимыч? – отвечал гость, но взял, однако ж, стакан, тягостно возвел к потолку тусклые, водянистые глаза свои, испустил страдальческий вздох и, проговорив: «Господи, прости нам прегрешения наши!» – выпил все до капельки.

– Гости дорогие, милости просим! Данила Левоныч, ты что? Аль боишься уста опорочить? Пей, да подноси соседу, – продолжал Савелий, передавая штоф старосте и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи. – Дядя, а дядя, дядя Щеголев! полно тебе

раздобарывать, успеешь еще наговориться... Эх, а еще куражился: всех, говорил, положу лоском! что ж ты?.. Храбр, видно, на словах! – заключил Савелий, протягивая руку к сотскому, который рассказывал что-то мельнику.

– Подноси, подноси знай, да не обноси, – захрипел старикашка, заливаясь удушливым, разбитым смехом; он взял стакан, бодро привстал с места, произнес: «Всем гостям на беседу и во здравие!» – выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову.

– Вишь, балагур, занятный какой; ай да Щеголев! – раздалось со всех концов посреди хохота.

– Так как же тяжело, примерно, вам было в ту пору? – спросил мельник, когда уселся Щеголев.

– А ты думаешь как? – возразил Щеголев, бодрившийся и делавшийся словоохотливее по мере того, как штофы пустели. – Куда жутко пришлось: народ весь разбежался; избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка; сами прохарчились... захочешь пирожка, ладно, мол, – льду пососешь; захочешь щец – водицы похлебай, а другого и не спрашивай!..

– А что, примерно, бывал сам в сражении? – перебил мельник, выставя вперед подбородок и осеняя рот крестным знаменем.

– И-и... Александр Елисеич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствия всякого достойно! – произнес пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня.

– Так ты Кутузова-то видал? сказывают, сильный, примерно, был человек... – спросил мельник, глубокомысленно насупивая брови.

– Кутузова-то! – воскликнул Щеголев, заливаясь снова разбитым своим смехом и хорохорясь несравненно более прежнего. – А ты думаешь как! Как сядет, бывало, на коня... ух! ничего, говорит, не боюсь! Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был, настоящий русак! Кутузов, говорит ему, возьми себе за услуги твои Смоленское... возьми уж,

говорит, и Голенищева в придачу! Вот так настоящий был воин! Ничего, говорит, не боюсь! Куда ни покажется – так лоском и кладет супостата! Как ты думаешь: сам на коне сидит, а над ним, слышь ты, орел летит... ничего, говорит, не боюсь!..

– Ну, а сам-то ты, сам бывал в сражениях? Страшно, чай? – продолжал расспрашивать Александр Елисеич.

– Чего страшно! ничего не страшно: француз ли, супостат ли... пали, да и только! Бей его, врага-супостата! – крикнул Щеголев, ударив кулаком по столу.

– Я чай, в пушку ударили? – вымолвил пономарь, взглядывая из-за мельничихи.

– В пушки ударили, в барабаны забили, – пули и картечи летели нам навстречу! – подхватил Щеголев, отчаянно потряхивая головою, в которой начинала уже бродить нескладица.

– Лександр Елисеич, еще стаканчик, полно тебе спесивиться, – откушай! – перебил Савелий.

– Нет, Савелий Трофимыч, надо настоящим делом рассуждать, ей-ей, примерно не по моготе...

– Кондратий Захарыч, милости просим!

– Много довольны, кушайте сами; много довольны вашим угощением, – отвечал пономарь, принимая стакан и раскланиваясь на стороны.

– Кума Матрена Алексеевна, не обессудь, просим покорно, – продолжал хозяин, ослабляя зубы на мельничиху, которая сидела понурих головою, с видом крайнего изнеможения, – понатужьтесь еще, дай тебе господи долго жить да с нами хлеб-соль водить...

Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась.

– Сват Данила, угощайтесь, – ну, первинка тебе, что ли!..

– Так и быть, согрешу, – обижу свою душу, – выпью во здравие и многолетие!..

– Вот так-то... Эй, Авдотья, давай перемену! – крикнул хозяин, упираясь спиной и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и оборачиваясь назад к печке, где слышался пискливый говор баб и звяканье горшков.

– Сейчас! – отозвался пронзительный голос, покрывший на минуту шум гостей.

Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие, в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюда. Минуту спустя из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке.

– Куманек, сватушка, кушайте, угощайтесь, милости просим; кумушка Матрена Алексеевна, прикушай, касатка, ты у нас дорогая гостьюшка, – сказала хозяйка, сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку. – Кушайте, родные вы мои, – не судите хлеб-соль, укланялись, угощая вас, – продолжила она, отвешивая маховой поклон мельничихе, тогда как обе снохи подставляли чашки гостям, сидевшим со своими ложками на лавках.

– Много довольны вашим хлебом и солью! спасибо за ласки и угощение, дай тебе и деткам твоим всяческого благополучия от царя небесного! – раздалось отовсюду.

– Авдотья, давай перемену! – крикнул снова Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то что сильно упирался на старосту.

– Кумушка, Матрена Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков, хоть орешков возьми... – говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе. – Возьми, не прогневайся, возьми, ужотко деткам твоим зубки позабавить, себе на потеху...

– Пули и картечи... летели... к нам навстречу! – пробормотал неожиданно Щеголев, поднимая голову.

– Ну, господь с тобой, касатик, – отвечала хозяйка, – кушай во здравие!..

– Авдотья, давай перемену! – крикнул снова Савелий. – Эге... ге... брат Щеголев, – присовокупил он, размахивая руками пред сотским, который клевал носом корку пирога, – что ж ты хотел-то всех лоском положить?..

– Давай!.. – прохрипел Щеголев, болтнув головою, как будто кто дал ему подзатыльника. – Ничего не боюсь!., пули... картечи... летели...

– Эй, Кондратий Захарыч, о чем вы тут толмачите? – заключил Савелий, махнув рукою и поворачиваясь к пономарю, который разговаривал с мельником.

– А вот, Александр Елисеич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком, Кириллой Власовым; небось ты его знаешь?

– Трафилось видеть. А что за случай такой?

– Да не сегодня, так завтра помрет, за попом посылали...

– Ой ли? да с чего так?.. – спросило несколько голосов.

– Расскажи, Александр Елисеич, – шепнул пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху.

– А вот что, – начал мельник, останавливаясь на каждом слове, чтобы перевести одышку, – недели три тому будет, пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу; дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось; взял, примерно, шапку, пошел. Пришел, примерно, на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой.

Время стояло, как нынче, метель, примерно, такая буря, – зги не видать, – продолжал Александр Елисеич, посматривая поочередно то на того, то на другого, тогда как присутствующие, подстрекаемые любопытством, двигались к нему и вытягивали шеи. – Вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. «Кирилла Власов!» – зовет, примерно, как словно какой знакомый человек либо сродственник... Он глядь –

никого. В другой раз, он опять остановился, – опять никого... «Кто там?» – крикнул. Никто, примерно, не откликается... Чтой-то за диво!.. Вот он опять пошел; что ни шаг ступит – зовет его кто-то по имени, да и полно!.. Вот приходит он домой; сел, поел, лег на печку – не спится... словно, говорит, мутить меня стало... Ну, нечего делать, встал это он, сел на лавку и стал, примерно, сумлеваться. Кто, говорит, звал меня в лесу?.. Стал это он так-то сумлеваться, вдруг слышит – стучат в окно... «Кто? – говорит, – кого надыть?..» – «Пусти, Власыч, пусти, примерно, переночевать!» – отозвалось за окном. Какуслыхал, говорит, так индо по закожью меня и дернуло, вся кровь, говорит, запечаталась во мне... слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу...

– Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно! – произнес со вздохом пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку.

Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно.

В окне послышался стук. Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.

– Ну, чего вы?.. – крикнул Савелий, обращаясь к бабам, которые с визгом побросались в сторону. – Кума! Матрена Алексеевна! полно тебе! – присовокупил он, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью на сотского и притиснула долговязые ноги пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку. – Ну, чего вы! эк! ишь их! (Тут Савелий повернулся назад к двери, где происходила какая-то каша, в которой все двигалось, кричало и тискалось.) Куда вы? стойте я погляжу пойду!..

Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова, сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы.

– О-ох! касатик, Савелий Трофимыч, не ходи! с нами крестная сила! – проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.

– Кто там? – крикнул что есть мочи Савелий.

– Про-хо-жий... – отвечал дрожащий, прерывающийся голос.

– Чего надуть? – гаркнул Савелий.

– Пусти... перено... чевать... озяб... – отвечал голос, заглушаемый ревом метели.

– Ступай, ступай! коли ты добрый человек, – сердито отозвался Савелий, делая шаг к окну. – Ступай подобиру-поздорову, много вас шляется; проваливай, проваливай... здесь не место, ступай!.. Эй, Александр Елисеев, Данило! кума! гости дорогие! что ж вы, аль не слышите? чего всполохнулись! это, должно быть, какой-нибудь христарадник, а вы и взаправду подумали... садитесь, милости просим... ишь нашел время таскаться да грызть окна...

– Да ты, касатик, посмотри в окно! – сказала хозяйка, робко выглядывая из толпы.

– Чего смотреть! говорят тебе толком – нищенка!

– Ох, нет, родной, нет, Савелий Трофимыч, обойди-ка вокруг двора, оно вернее, обойди, касатик! – раздалось в толпе баб.

– Ну, пошли... с вами не столкуешь!.. Эй, Александр Елисеич, сват Данило, Кондратий Захарыч, полно вам; кума, Матрена Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться, чего вы взаправду переполошились, садитесь! – говорил Савелий, усаживая гостей, которые, не слыша более шума за окном, начинали мало-помалу ободряться. – Авдотья, давай перемену!..

Гости, ободренные окончательно тишиною, водворившиеся за окном, уселись по-прежнему на свои места; мельничиха освободила задыхающегося Щеголева, пономарь завертел снова левым глазом вокруг соседки, на столе появились два новые штофа, снохи переменили чашки на ковши с суслом и брагою, и веселая вечеринка, прерванная на время, продолжалась на славу радушным хозяевам.

VI

Ах, ты сей, мати, мучину, пеки пироги,

Слава!

Как к тебе будут гости нечаянные,

Слава!

Как нечаянные и незваные,

Слава!

К тебе будут гости, ко мне женихи!..

Слава!

Народная песня

– Ребята!., эй!., где вы? – крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны.

Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам, испустил дребезжащий, пронзительный свист и стал прислушиваться.

– Кто тут? – робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.

Гришка повернулся к воротам и свистнул по второй раз.

– Гришка, ты? – повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая, и, наконец, показался парень и несколько девушек.

– Я, я... ступайте сюда, не бойтесь... кто это? – воскликнул Гришка, достигая их одним прыжком и принимаясь ощупывать круглое лицо парня. – Э-э! Петрушка Глазун! смотри ты, куда затесался, – с девками!..

– Я нарочно побежал с ними... они, вишь, задумали по домам разойтись...

– Ну, ладно, ладно, пойдёмте!..

– Ох, касатушки, страшно, ох, девушки, страшно! Гришка, куда ты нас тащишь! а ну как опять встренется... – проговорили девушки, прижимаясь друг к дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.

– Ну вот, полно вам ломаться, пойдете; лих его, пущай встренется; вы и взаправду думаете – леший какой али ведьма...

– Вестимо, чего бояться, – произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея-каженника, – должно быть, нам так почудилось, а не то, верно, какой-нибудь побирушка, – прибавил он, присоединяясь к толпе.

– Ай да Алеха! молодца, право слово – молодца! Девки! скажите: с чего он так расходился? отколе прыть взялась?.. Ну, идете, что ли?..

И Гришка, сопровождаемый девками, Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, спрятанные в рукава вывороченного полушубка, стал пробираться подле изб.

– Эй, ребята, девки! выходите, полно вам! – кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.

– Кто там!..

– Выходи, – чего спрашиваешь, – ступай, так увидишь!

– Да как же звать?..

– Зовут зовуткой, а величают уткой!

Раздался хохот, и толпа увеличивалась новым озорником. Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к ряженным, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались налицо.

– Чего оглядываетесь на стороны! небось леший-то давно лыжи наострил, – так испужали его наши девки, – куда прытки голосить! – сказал Гришка, останавливая толпу. – Ну, все ли здесь?.. Бука, ступай сюда; ты, коза, пойдешь

следом за букой; каженник, становись здесь, я тебя поведу; а за ним баба-яга; баба-яга... ну поворачивайся, да смотри не плошай... – прибавил он, повертывая за плечи долговязого парня в поняве, с платком на голове и сидящего верхом на помеле.

– А куда нам идти-то? – спросил кто-то.

– Сказано, к Савелию.

– Нет, ребята, – слушай, Гришка! пойдемте лучше в другую избу – туда не проберешься; я было сунулся – куда те: в сенях народ стоит...

– И то, пойдемте-ка лучше, коли уж идти, пойдемте к старосте, как прежде хотели, – вымолвил Алексей.

– Слышь, ребята, слышь, что говорит каженник; ай да Алеха! – закричал Гришка. – Что-то, братцы, я Заприметил, больно он расходилсЯ нынче; никогда такого не бывало!., должно быть, неспроста... Слышь, как его раззадоривает идти к старосте; уж не Парашка ли тому виною... пойдем да пойдем!.. А ну, быть, как сказал каженник, – качай!.. – И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая:

Чижик-пыжику ворот,

Воробышек махонький...

Эх, братцы, мало нас.

Голубчики, немножко!..

– Тише, Гришка, что ты орешь! – услышит старостиха, не пустит нас...

– Небось! метель гудит – не услышит! Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам...

– Ну вот! тише, говорят! разве не видишь, – вот и изба...

– Ребята, стой! – шепнул Гришка, снова останавливая толпу; – у старосты огонь, поглядите, кто у них в избе; не вернулся ли хозяин!..

– Нет, вижу! – отвечал также тихо Петрушка, взобравшийся на завалинку. – Никого нет; сидят старуха да дочь...

– Ладно, подбирайся к воротам; тихонько, смотри... так, ладно... Братцы, никак калитка-то заперта... стой! Кто из вас цепкий, – полезай через ворота да сними запор.

– Давай я полезу, – сказал Алексей, двигаясь к воротам.

– Нет, ты и коза не трогайтесь с места; Петрушка, ступай сюда! – шепнул Гришка, подставляя спину.

Петрушке чехарда была в привычку; он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и минуту спустя бухнулся в сугроб, по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа затаив дыхание начала пробираться по двору старосты к крылечку.

– Тсссс... – произнес Гришка, останавливаясь на крылечке и подымая руку кверху, – дверь заперта изнутри!.. ничего, молчи, я дело справлю: смотри только, как свистну, все за мной в одну плетеницу, да не робей, дружно!

Сказав это, он ударил кулаком в дверь. Минуту спустя в сенях слышались шаги.

– Кто там? – спросила хозяйка.

– Отворяй! – отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.

– Ты, Левоныч?

– Отворяй, говорят... аль не признала? – продолжал Гришка, стараясь прикинуться пьяным.

Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором; вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист, и не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась с визгом и хохотом в избу.

– Ай, батюшки, режут! ай, касатики, режут! – завопила старуха, бросаясь как угорелая в угол сеничек и забиваясь между корытами и досками...

Страх ее не был, однако ж, продолжителен; заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряженных и дочь, стоявшую посреди их с веселым, смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени – но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни полена, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя, который переминался с ноги на ногу, стоя перед Парашею.

– Ах ты, разбойник! ах ты, окаянный! – взвизгнула она, принимаясь тормозить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.

– У... у... у! – захрипел бука, вынырнул неожиданно из-за медведя и, став между ним и старостихою, простер к ней руки, обернутые соломой.

– Бя... бя... бя! – затрещала коза, дергая ее сзади.

– Бу... у... у... – ревел бык, пыряя ее рогами.

– Кудах! кудах, ирр... ирр... – зашипел, откуда ни возьмись, журавль, то есть долговязый, плечистый парень, у которого рука была притянута к голове, и все это окутано было рогожей, – ирр... – присовокупил журавль, тыкая ее в бок веретенном, изображавшим клюв.

– Пострелы! черти! собаки! – вопила старостиха, отбиваясь руками и ногами.

– Полно, тетенька, не серчай, – запищала скороговоркою баба-яга, замечая след помелом и смело наступая на старуху, которая задышалась от злобы, – слушай: загадаю тебе загадку: двое идут, двое несут, сам-треть поет... Не любо?.. изволь другую; под лесом-лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов

дразнят... Не угадала?... Серьги, тетенька, серьги.

– Поди прочь, леший! – крикнула старостиха, замахиваясь обеими руками на бабу-ягу, но, оглушенная визгом и хохотом, в ту же минуту обратилась к толпе девушек. – А вы, бесстыжие! погоди, постой! о! Грушка Дорофеева, я тебя признала, – ах ты, срамница! – прибавила она, бросаясь на толстенькую девушку прятавшуюся за подруг; но Груша нырнула в толпу толпа раздвинулась, и старостиха прямехонько наткнулась на Гришку козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.

– Ну-кось, Михайло Иваныч, – заговорил Гришка, размахивая палкою так ловко, что старостиха никак не могла приступиться, – потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали... А ну, поворачивайся! – крикнул он, дернув за веревку, привязанную к поясу медведя, который все-таки не двигался с места и не отрывал глаз от Параши. – А ну, ну, полно, аль приворожила тебя красная девушка... ну, коза, валяй, начинай!.. Михайло Иваныч, что ж ты взаправду уставился, не кобенься, кланяйся хозяйшке молодой, да в самые ножки! – присовокупил Гришка, опуская палку на плечо медведя, который на этот раз повалился охотно в ноги Параше. – Так: ну, коза, живо!..

Тут Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился вприсядку вместе с козою, припевая скороговоркою:

Антон козу ведет,

Антонова коза нейдет;

А он ее подгоняет,

А она хвостик поднимает...

Он ее вожжами,

Она его рогами...

Старостиха кричала, бранилась, но уже никто ее не слушал; все вокруг нее заплясало, завертелось, и трудно определить, чем бы кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из сеней:

– Староста идет!..

Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих. Раздался оглушительный визг; баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой, откуда ни возмись, явилась в руках кочерга.

– А! разбойники! что взяли! что взяли!.. – кричала она, нападая с яростью на беглецов и не замечая впопыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.

– Что взяли! – продолжала старостиха, врываясь в сени, – Левоныч! Левоныч! Держи их, не пущай, смотри держи разбойников!..

Медведь быстро оглянулся на дверь и сбросил овчину, покрывавшую голову.

– Параша, это я! не бойся... – произнес он, обращаясь к девушке, которая боязливо пятилась к печке, – спрячь меня! видит бог, для одной тебя пришел к вам. Слышь, отец идет! – прибавил он, высвобождая одну ногу из рукава овчины.

Страх Параша прошел, по-видимому, тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было; голос старосты и жены его приближался и слышался уже на крылечке. Надо было на что-нибудь решиться... Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку. Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.

– Ну, чего ты уставился? что глаза-то выпучил?.. Тьфу! прости господи! произнесла старуха, бросая с сердцем кочергу, – кричу ему: держи их, не пущай!..

– Ох... дай дух перевести... мне почудилось... – перебил староста, протирая глаза.

– То-то, спьяна-то черти, знать, тебе показались!.. Толком говорят – ребята были, чтоб их собаки поели! Пришли, давай, разбойники, все вверх дном вертеть; содом такой подняли, проклятые...

– Погоди... стой! я с ними справлюсь; ты скажи только, кто да кто был, – произнес не совсем твердо староста, у которого хмель отшибал несколько язык и память.

– Известно, кому больше, как не Гришке Силаеву; проклятый такой, чтоб ему...

– Ладно, ладно... а ведь мне почудилось... У Савелия, слышь ты, такую диковину рассказывали... иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову... а тут они, проклятые, понагрянули... не думал, не гадал... Да постой, я им задам завтра таску, особенно Гришке... я давно заприметил.

Староста не закончил речи; голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились как горошки и остановились на одной точке. Увидя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа. Одна Параша не тронулась с места; она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.

Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги. Данило повалился на лавку; старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.

– Данило Левоныч, тетушка Анна, не пужайтесь! это я... – произнес Алексей, делая шаг вперед.

За слыша знакомый голос, муж и жена подняли голову.

– Как!.. ах ты, окаянный! – воскликнула старостиха, мгновенно приходя в себя. – Левоныч, хватай его!..

– Каженник!.. – проговорил староста, протирай глаза и тяжело подымаясь с места.

– Хватай его, держи! – голосила старуха, принимаясь толкать мужа.

– Полноте вам сомневаться... – сказал не совсем твердым голосом Алексей, – я не вор какой, не убегу от вас, сам дамся в руки...

– Чего тебе надеть? – заревел Данил о, грозно подходя к парню.

– А! так вот как! – крикнула старостиха, кидаясь на дочь, – так вот ты какими делами... погоди, я с тобой справлюсь!

– Тетушка Анна, не тронь ее... – сказал Алексей, становясь между дочерью и матерью, – видит бог, она не причастна... я во всем причиной и винюсь перед вами.

– А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку, – вымолвил староста, хватая парня.

– Погоди, дядя Данило, стой, не замай, – я винюсь и без того... – пришел с ребятами к тебе; думали позабавиться, песни поиграть... кричат: ты идешь... все вон кинулись, я один не поспел, – вот и вся вина моя... а она, дочь твоя, Данило Левоныч, видит бог, ни в чем не причастна!..

– Да ты, дурень ты этакой, что его слушаешь! тащи его в сени... дай ему таску, чтоб помнил вперед... тащи его... ах ты охаверник, каженник проклятый!.. стой, я тебе дам знать... – голосила старостиха, подталкивая Алексея в спину, тогда как муж тащил его в сени, – так, так, так, хорошенько ему, разбойнику!..

Увещевание и разговоры были напрасны; староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки.

– Ну, теперь я с тобой поговорю, – начала старостиха, торопливо вбегая в избу, – ах ты, срамница ты такая!.. Да где она?.. Парашка! – крикнула она, оглядываясь во все стороны.

Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неопisanную ярость.

– Что ты тут делаешь? – взвизгнула она, втаскивая ее в избу и замахиваясь обеими руками.

– Без тебя, матушка, постучали в окно... я отворила... какой-то человек...

– Какой человек?..

– Должно быть, нищенка...

– Какой там еще леший?.. – произнес староста, входя в это время в избу.

– Нищенка, батюшка, – отвечала Параша, – просится переночевать...

– А! это, должно быть, тот самый, что стучался к Савелью да всех нас переполошил, – проговорил Данило, нетерпеливо подходя к окну, в котором мелькнула бледная тень человека. – погоди же; я тебя выучу таскаться по ночам... Чего тебе надо? – крикнул он, просовывая голову на улицу. – Отваливай, отваливай отселева, коли не хочешь, чтобы я проводил! Вишь, нашел постоянный двор, в какую пору таскаться выдумал... погоди, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой!.. Ступай, ступай!.. Вишь, взаправду, повадились таскаться, – промолвил староста, захлопывая окно, – прогнали с одного двора чуть не взашей, нет – в другой лезет... И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужа... Тут и собака, кажись, лежит – не шелохнется, а он слоняется да окна грызет... О-ох! – заключил Данил о, зевая и разваливаясь на печке.

VII

Мы ходили, мы искали

Коляду, коляду,

По всем дворам, по проулочкам,

Нашли коляду

У Василисина двора.

Здравствуй, хозяин с хозяйшкой,

На долги века, на многи лета!

Народная песня

«Вот не было тоски и печали! – подумал Алексей, выходя из Старостинных ворот на улицу, – все как есть, все теперь пропало! – продолжал он, равнодушно шагая по сугробам и не обращая внимания на студёный ветер, который гнал ему в лицо целое море снегу! – И зачем было идти к ним в избу?.. Как словно не знал я, не видал, – не вернуть и им пропавшего дела. Коли прежде зарок не велели ей молвить слова, – бегала она от меня, как от волка; теперь, стало, и подавно ждать нечего... Эх, загубил я вконец свою голову!..»

Раздумывая таким образом, он не заметил, как очутился перед воротами своей избенки. Из слухового окна все еще мелькал огонек, и Алексей, не ожидавший застать старуху-мать на ногах, поспешил в избу. Но старушка предупредила его; она давно сидела настороже, прислушиваясь к малейшему шуму и шороху. Чуткий слух не обманул ее. Заслышав знакомые шаги, она суетливо поправила платок на голове, взяла лучину и, прежде чем сын успел пройти двор, стояла уж в сеничках.

– Ох, родной мой, куда это ты запропастился? – произнесла она, выбегая на крылечко и заслоняя дрожащею ладонью лучинку. – Уж я ждала-ждала; время, думаю, недоброе, не прилунилось ли чего, помилуй бог...

– Нет, матушка, ничего, – весело отвечал Алексей, взбираясь по ступенькам.

– То-то, родной... а я сижу так-то да думаю...

И старушка, улучив минуту, когда парень прошел мимо, взяла лучину в левую руку, взглянула на сына и, отвернувшись несколько в сторону, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.

Избенка была крошечная: стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка; все показывало, что старушка была добрая, радетьельная хозяйка. Ничто не валялось зря, где ни попало, все было прибрано к месту, земляной пол был чисто-начисто выметен; и хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачужка Василисы глядела как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседних изб.

Наружность самой хозяйки соответствовала как нельзя лучше ее жилищу: это была крошечная, тщедушная старушонка, с вдавленной грудью, прикрытою толстой, заплатанной, но чистой рубахой. Голова ее, повязанная ветхим платком с длинными концами назад, склонялась постоянно набок, – ни дать ни взять, как кровля ее избенки. Лицо Василисы было желто и покрыто, как паутина, морщинами, но столько еще веселости отражалось в ее светлых глазах, столько добродушия проглядывало в потускневших чертах ее лица, что нельзя было не полюбить ее сразу.

Заложив в светец лучинку, она тотчас же подошла к сыну.

– Алеша, погляди-кась на меня... ты словно, касатик, не весел?..

– Нет, матушка, право, ничего, – отвечал парень, отходя к печке и принимаясь развешивать на шестке вымокшую овчину.

– Полно, родной, я вижу... не тот ты был, как вышел из дому; уж не прилунилось ли чего? – вымолвила старушка, преследуя сына и устремляя на него пытливый взгляд.

– Взаправду ничего, – сказал Алексей, стараясь засмеяться, – ходил с ребятами по соседям, везде пир такой, веселье... с чего, кажись, быть невеселу!..

– То-то, то-то, касатик, с чего тебе кручиниться... а я так-то сижу, да думаю: куда, мол, думаю, запропастился...

– Я, признаться, матушка, не чаял, что ты станешь меня дожидаться...

– Ах ты, голова, голова!.., а то как же?.. Так-таки лечь мне да махнуть рукой?.. Вспомни-ка, какой нынче вечер!.. Разве ты запомнил, что было у нас прошлого года?.. Ну-ткась, ну, раскинь-ка умом, – весело прибавила она, качая головою и не отрывая глаз от парня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Примечания

1

Обряд этот совершается на Васильев вечер и известен в Великороссии под названием: смывание лихоманок. Смывание производится (как уверяют, по крайней мере, плутовки, пользующиеся доверием поселян) снадобьем из четверговой соли, золы из семи печей и угля, выкопанного в Иванов день из-под чернобыльника.

2

Каженником называют в деревнях человека, одержимого душевною тоскою иногда просто без причины. Не ходит парень в хороводы, ну и каженник!

Купить: https://tellnovel.com/stanyukovich_konstantin/svyatochnye-rasskazy

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)